

Людмила Сараскина

«Персональное прошлое»: уроки прижизненной биографии

Доклад на Международной конференции к 90-летию со дня рождения А.И. Солженицына
«Путь А.И. Солженицына в контексте Большого Времени».

5.12.2008.

Хорошо известно, что Александр Исаевич Солженицын весьма скептически относился к идее создания его прижизненной биографии. Так было со всеми биографами, кто проявлял подобную инициативу до меня. Так было и в моем случае. Я принимала его резоны как должное. И что создание прижизненных биографий не в русской традиции. И что не следует подводить итоги преждевременно, пока не явлена высшая точка жизни — ее завершение. И что создавать писательскую биографию можно лишь спустя полвека — если писатель останется в истории литературы. Я принимала во внимание эти аргументы — и если все же удалось написать биографическую книгу о Солженицыне еще при его жизни (потом окажется, что при самом конце жизни), то это случилось благодаря совпадению в высшей степени счастливых для меня обстоятельств.

Но вот прошло полгода после выхода книги, и я с радостью убедилась, что читатели и критики восприняли прижизненную биографию позитивно, то есть признали безусловное право этого писателя на обстоятельное, подробное жизнеописание, появившееся в условиях, когда его биография продолжалась. Значит, масштаб его личности, результаты труда, всемирная известность, колоссальный интерес во всем мире и груз прожитых лет дают право на исключение из тех правил, которые вывел из феномена прижизненных биографий сам Солженицын. Если согласиться с мыслью, что мир — это художественное создание, сырье искусства и черновик литературы, то титанический герой, каким был реальный Солженицын, намного превосходит все, что сказало искусство на эту тему в форме вымысла.

Но — любил цитировать Александр Исаевич — «хвали день по вечеру, а жизнь по смерти»¹. Разумеется, «хвали» не означает здесь «прославляй», а означает «делай выводы» — и о прожитом дне, и о прожитой жизни. Искать высший смысл в том, что же с человеком случилось, когда уже поставлена финальная точка, это и значит «хвалить жизнь по смерти». То есть увидеть персональное прошлое человека — чем оно могло бы быть и чем оно в конце концов стало. Только после его ухода я поняла, что сопротивление писателя созданию прижизненных биографий, имело не только формальные, внешние причины, но содержали немалый внутренний смысл. Этот смысл проступает теперь, когда необходимо заново осмыслить все обстоятельства его прошлого, особенно с точки зрения того, что было ему уготовано условиями и обстоятельствами рождения.

Прибегну к сослагательному наклонению, которого не хочет знать история, но которое всегда волновало литературу. Альтернативная

индивидуальная судьба, то есть судьба, зависящая и от зигзагов истории, и от выбора человека, — законный предмет размышлений. Солженицын оставил замечательно интересные свидетельства о своей альтернативной, возможной судьбе.

Напомню одно его размышление: «Мы, каждый человек, плохо понимаем свою жизненную задачу. Мы построим план, вот буду делать так-то. Но потом вдруг поворачивает нас судьба, верующие люди говорят — Бог, нас поворачивает совсем не так. Происходит с нами несчастье, провал. А потом проходит время, и мы понимаем, что за нас был сделан высший и верный выбор что мы по своему неразумию не туда шли, то есть, имея в виду свою цель, мы шли в другую сторону, не так. А нас поправляет судьба, Бог, — поправляет и направляет нас туда куда надо. Это поразительно, я много раз в своей жизни наблюдал. *Я сам бы не мог так жизнь построить, как за меня она построена, не моими руками.* Наверное, и с человеческой историей так, не только с личностями отдельными. <...> Но мы не имеем права и так сказать: ах, Бог всё исправит, будем сидеть спокойно. Нет. Мы должны биться. В этом смысл жизни на земле. Мы бьёмся, как можем, как понимаем, сколько хватает нашего зрения, мужества, ума. Конечно, есть божественный смысл в истории, божественный взгляд. Но нам нельзя ни предвидеть, ни всё на него оставить, самим сидеть сложа руки, без действия. Мы не имеем права².

Вся жизнь Солженицына — ярчайшая иллюстрация этого принципа: счастливого объединения двух встречных усилий, условно говоря, двух пар рук — его и не его. И он, этот принцип, работал, кажется, уже с момента рождения писателя. Поясню, что именно я имею в виду.

Осип Мандельштам, ровесник отца Солженицына, отвечая в 1828 году на анкету «Советский писатель и Октябрь», писал: «Октябрьская революция не могла повлиять на мою работу, так как отняла у меня “биографию”, ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существования на культурную ренту»³.

Еще раньше, в 1923-м, в «Шуме времени» он признавался: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а отстранением прошлого»⁴.

Эти два высказывания большого поэта, приложенные к судьбе Солженицына, выявляют поразительный обратный эффект. Солженицыну в самый момент рождения судьба выставила сплошные рогатки, с наглядной жестокостью продемонстрировав, что он мог бы иметь, но чего иметь никогда не будет.

Октябрьская революция колоссально повлияла на работу Солженицына, хотя тоже отняла у него его возможную ДРУГУЮ «биографию». Октябрьская революция стала центральной, пожизненной темой всей работы Солженицына-писателя и публициста, концентрацией всех усилий его как романиста, историка, мыслителя. Она волновала его лично, персонально, он горел ею, пытался прописаться в ее события, точно называя место и время. «Сколько жив — живу иных событий ради, / У меня в ушах иного поколения набат! / — Почему я не был в Петрограде / Двадцать восемь лет тому назад?» — риторически восклицает герой поэмы «Дороженька» в конце 1945 года. Для чего, спрашивается, ему надо быть в Петрограде в это время? Для того чтобы броситься под ноги тому вознице, кто правит колесницей революции. «“Кто здесь русский? Стой!! — по праву смерти / Я бы крикнул им из-под подков, — Семь раз семь сходите и проверьте — / Путь каков?!”»⁵.

Не этим ли именно и занимался автор «Красного Колеса», целую жизнь работая над эпопеей о Революции? «Этот путь у Революции — один? неумолимо? / Или был — другой?»⁶

Разрешению этих сомнений он посвятит всего себя.

ДРУГАЯ, альтернативная биография Солженицына не может не волновать воображение биографа, исследователя, читателя.

Октябрьская революция не то что бы положила «конец духовной обеспеченности и существования на культурную ренту», как пишет о себе Мандельштам, она дала жизни Солженицына социальный старт даже не нулевой, а отрицательный. Можно представить, как бы сложилась жизнь единственного наследника Захара Федоровича Щербака, его единственного внука: богатый дедов дом, парк, земли, обширное процветающее хозяйство, возможность получить самое лучшее образование, хоть в России, хоть в Европе, заграничные путешествия. Вспомним, что писатель впервые пересек границу СССР (если не считать дорог войны, в которых он был не волен) в 56 лет, и тоже не по своей воле, а в результате насильственной высылки. А его молодые дядя и тетя Роман и Ирина Щербаки до революции успели объездить всю Европу и планировали, когда окончится война, поехать в Иерусалим, Константинополь, Америку.

Однако радужные эти перспективы обратилось в прах в самый момент рождения их племянника, так что ни о какой материальной, духовной или культурной ренте не могло быть и речи. Судьба Солженицына в пункте ренты резко контрастирует и с судьбой его старшего современника Владимира Набокова: ведь тому тоже пришлось отказаться от собственных культурных, то есть аристократических дивидендов. Однако это были реальные, а не потенциальные или виртуальные потери: революция лишила его наследства в буквальном смысле этого понятия: благородного происхождения, богатого барского дома, аристократической родни, образа жизни и всей обстановки его молодости и его культурного круга.

Солженицыну терять было нечего. Первая его возможная судьба стала судьбой несбывшейся. Замечу, что сам Солженицын никогда, кажется, не

испытывал личной ностальгии по утерянному раю в станице Новокубанской, никогда не воображал себя хозяином дедовой латифундии, владельцем овечьих стад, промышленником или предпринимателем. Самыми яркими красками изобразив дедов дом в «Красном Колесе», любовно (а не враждебно!) описав и дом, и деда, «крестьянского Столыпина», и мать в ее счастливой молодости, и труд, вложенный в хозяйство, он нигде ни одним намеком не указал на возможное там и свое место. Деду, потерявшему все, что у него было, одиннадцатилетний внук сказал в 1930 году: «Ты — не жалей. / Наследства б я из принципа не взял»⁷.

Вряд ли все же это были только слова утешения. То его потенциальное наследство, та его несбывшаяся судьба больно аукнулись пунктом неблагонадежного социального происхождения, которым долгие годы терзали мать. Только и всего. Несбывшаяся судьба стала не культурной рентой, а социальным налогом, который заплатили мать и сын Солженицыны советской власти, нищетой, неустроенностью, убогим бытом.

Загадка судьбы Солженицына, которая стала окончательно очевидна теперь, после его ухода, в том, что он проживал ВСЕ свои ЖИЗНИ — И СВОЮ РЕАЛЬНУЮ, персональную, И НЕСОСТОЯВШИЕСЯ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ. Не только как художник или артист проживают судьбы своих героев, но и как реальный человек. Несбывшиеся варианты судьбы, волновавшие Солженицына всю жизнь, становились источником его замыслов и его реальных поступков. Его страстно волновала альтернативная судьба отца — что было бы, если бы он не погиб так нелепо? «Может быть, к лучшему умер отец / В год восемнадцатый смертью случайной: / С фронта вернувшийся офицер / Кончил бы он в *Чрезвычайной*»⁸. «Горд был бы я, — пишет Солженицын в «Зернышке», — если б отец мой воевал против захватчиков, — в Белом ли движении, или ещё лучше, в крестьянском... И в той борьбе если б и убили отца, это был бы подвиг его и зов ко мне»⁹. Несомненно, он искал зримые следы той возможной отцовской судьбы и на дорогах Тамбовщины, куда ездил собирать материалы по крестьянским восстаниям, и в книгах, и в рассказах очевидцев.

Он держал в поле зрения все свои возможные, но несостоявшиеся жизни. «Всю мою советскую юность я с большой остротой жаждал видеть и ощутить русскую эмиграцию — как второй, несостоявшийся, путь России. В духовной реальности он для меня не уступал торжествующему советскому, занимал большое место в замыслах моих книг, *я просто мечтал: как бы мне прикоснуться и познать*. Я всегда так понимал, что эмиграция — это другой, несостоявшийся вариант моей собственной жизни, если бы вдруг мои родители уехали»¹⁰. Как не связать с этим признанием пристальное внимание писателя к первой русской эмиграции! Как не думать о более чем культурной, то есть о кровной, родственной связи с ней. В 1975-м, уже в изгнании, он пишет, обращаясь к русской эмиграции, к тем, кто *старше революции*. «Дорог всякий человеческий материал, и даже тем более, чем дальше он от великих событий, а ближе к простой жизни. Не ограничивайте себя ни темой, ни формой. Это может быть — последовательная ваша

биография. Или отдельные эпизоды из неё... *Время* событий, которые я собираю, — 1917–1922... *Места* событий, более всего важные для меня: Петроград, Москва, Могилёв, Рязань, Тамбов и Тамбовская губерния, Новочеркасск и Дон, Ростов-на-Дону, Пятигорск-Кисловодск»¹¹.

Понятно, что это материал для «Красного Колеса». Но чудится, что не только...

Прикосновение к тем вариантам своей судьбы, которые не сбылись, но могли бы сбыться, становятся мощным стимулом его писательского и человеческого интереса, средством самопознания, глубиной психологизма. Что, если бы он остался на шарашке и не попал в каторжный лагерь и не выучился на каменщика? Не было бы «Ивана Денисовича». Что если бы он навсегда остался в своей «Прекрасной ссылке», учителем математики в казахском ауле? Если бы не поехал во владимирскую Мещеру? Многочисленные ЕСЛИ волновали и будоражили писателя.

«Если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах, что б из меня вышло?»¹² Этой мучительной альтернативе посвящены многие пылающие страницы «Архипелага ГУЛАГ». Дерзновенная попытка заглянуть в чудовищную версию своей судьбы давала ему мужество сказать самому себе: линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. «И кто уничтожит кусок своего сердца?..»¹³ То есть злого его участка? Его, не совершившего жестокого зла в реальности, терзала совесть за то зло, которое, по логике *другой* судьбы, он мог бы совершить. «Перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. А кликнул бы Малюта Скуратов нас — пожалуй, и мы б не сплошали!..»¹⁴ Способность *повернуть глаза зрачками в душу* сделала его крупнейшим писателем современности и дала силы выстоять при всех поворотах судьбы. Не подробности саморазоблачений, а сами *факты покаянных признаний* в том, чего он никогда не совершал, станут важнейшей вехой биографии Солженицына. Признания эти, помещенные в составе главных произведений, которых не минует ни один читатель, — суть биографические документы высшего разряда.

Он искал эти «если» и в уже прошедшей реальности, заставляя видеть себя таким, каким никогда не был, но каким мог бы быть. Он подвергал свое безупречное офицерское прошлое такому порицанию, как будто это было не совсем его или совсем не его прошлое. Он смотрел на себя с такой стороны, с какой никогда не смотрит на человека в погонах даже и военный трибунал. Бывший комбат, ставший эком, не забыл ни одного неловкого эпизода своего командирства; припомнил каждую мелочь, которая входила в противоречие с правилами деликатности, душевной тонкости. Доходя в раскаянии до последней черты, он никогда не унижался до самозащиты.

И вот самое главное «если», волнующая загадка судьбы Солженицына. Перспектива уцелеть на войне и вернуться домой с боевыми наградами, но с *довоенными* мыслями и целями, могла означать для Солженицына только одно: как исторический писатель он мог стать трубадуром Красного Октября

и написать что-то вроде «Хождения по мукам»: вполне солидарно с общим пониманием темы: красные начинают, побеждают и завершают историю. В рассказе «Абрикосовое варенье» (1995) автор исторической трилогии показан как отвратительный циник и виртуозный мерзавец. Альтернативная биография писателя Солженицына могла бы стать еще одним поучительным примером драмы большого таланта, загубленного собственным малодушием и ложной идеологией.

Что было бы с ним как с писателем, если бы арест 9 февраля 1945 года миновал его, и он не попал бы в ГУЛАГ? Такой вопрос много раз задавал себе и сам Солженицын и неизменно отвечал: «Страшно подумать, что бы я стал за писатель (а стал бы), если бы меня не посадили»¹⁵. Почему именно это слово — *страшно*? Страшно попасть в официоз, в секретарскую обойму? Не в этом дело. В канун ареста комбат Солженицын уже знал, зачем ему нужна литература и зачем он нужен ей. Написать правдивую историю Октября — ради этого фронтовик-орденоносец готов был пожертвовать и своим послевоенным благополучием, и семейным ладом, и литературной славой. «У борцов не бывает “славы”. “Слава” бывает у балерин, скаковых лошадей, “модных поэтов” и прочих кукол, — писал он домой в конце ноября 1944-го, повторяя, что не ждет от будущего тихих радостей, уютного быта и устойчивого счастья. — С каждым месяцем мои литературные планы и намерения захватываются, завихриваются, впитываются, уносятся Политикой. С каждым месяцем я всё меньше и меньше живу *лично для себя*». Литература для него рифмовалась с правдой. Но что считать за правду? *Какая* история Октября отвечала критерию правдивости? В 1945-м Солженицын не видел в официальной литературе никого, кто бы мог создать художественную историю революции.

Победную весну 1945 года капитан Солженицын, минув его арест и тюрьма, мог бы встретить не на Лубянке, а в Померании, куда из Восточной Пруссии в течение трех месяцев двигался его дивизион. Капитан Солженицын постарался бы демобилизоваться как можно раньше и, быть может, уже в мае 1945-го поехал бы домой — конечно же, через Москву: сошел бы на Белорусском вокзале, куда прибывали тогда украшенные цветами эшелоны с освободителями Европы. Он привез бы (если бы только не успел переслать раньше) несколько связок запрещенных книг, пишущую машинку «Континенталь» и блоки чистой бумаги для письма — главные военные трофеи. Он собрал бы все свои уцелевшие рукописи и блокноты, нашел бы зачетку и той же осенью поехал бы в Москву, на университетский литфак, вобравший в себя МИФЛИ, откуда в военные годы был отчислен с *правом восстановления*. Учась в Московском университете и работая в какой-нибудь школе, он пробовал бы свои силы в литературе. Фронтовик Солженицын мог бы предъявить корифеям Союза писателей драгоценный багаж — военные блокноты. Они содержали колоссальный материал. «Эти дневники были — моя претензия стать писателем... Я безоглядливо приводил там полные рассказы своих однополчан... и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё рассказывал»¹⁶.

Можно представить, как стали бы воплощаться писательские притязания Солженицына, рискни он использовать военные блокноты. Вряд ли его литературные «крестные», при их официальном положении, одобрили бы интересы начинающего прозаика. Литературный дебют Солженицына, осуществись он по блокнотному варианту, даже на стадии рукописей привел бы автора в конце сороковых туда же, куда он попал в феврале 1945-го.

Если бы обладатель военных блокнотов, осмотревшись (в Москве, Ленинграде или Ростове), понял бы, что сюжеты его сочинений небезопасны и не могут быть реализованы без тяжелых последствий, то оказался бы перед жестким выбором, который стоял перед всеми собратьями по перу. Ему пришлось бы таиться, работать впрок, в стол — или строить литературную судьбу, следуя правилам легального советского писательства: сочинять «проходные» вещи». Легальное писательство, выбери Солженицын под давлением обстоятельств этот путь, еще более чем любой другой выбор, отдалило бы его от цели — или эта цель была бы сознательно подменена.

«В советских условиях, если б меня не арестовали в конце войны, — да, большие духовные опасности были передо мной, потому что, если б я стал писателем в русле официальной советской литературы, я, конечно, не был бы собой, и Бога потерял бы. Трудно представить, кем я был бы всё-таки, при всех моих замыслах»¹⁷ — писал он много позже. Так что, повернись колесо судьбы иначе, русский читатель мог бы узнать совсем другого Солженицына — успешного, скорее всего партийного писателя, с секретарской должностью в Союзе писателей. В лучшем случае, уже в хрущевские времена, он стал бы публично бороться за чистоту ленинизма и проповедовать социализм с человеческим лицом. Памятуя о своем былом интересе к истории Октября, *такой* Солженицын в начале шестидесятых мог бы писать пьесы о Ленине и его верных соратниках и в духе решений оттепельных партсъездов разоблачать культ личности. Наверное, еще лет через двадцать, в эпоху политических перемен середины восьмидесятых, он дозрел бы до разочарования в марксизме-ленинизме. Само собой разумеется, *этом* Солженицын ни «Ивана Денисовича», ни «Архипелага ГУЛАГ», ни «Красного Колеса» не написал бы никогда. Вряд ли под пером благополучного легального писателя могли бы появиться откровения из военных блокнотов. «Кто здесь был — потом рычи, / Кулаком о гроб стучи — / Разрисуют ловкачи, / Нет кому держать за хвост их — / Журналисты, окна “РОСТА”, / Жданов с платным аппаратом, / Полевой, Сурков, Горбатов, / Старший фокусник Илья... / Мог таким бы стать и я...»¹⁸ — замечал Солженицын-зэк, отлично понимая, в какую сторону могла бы после войны стремиться его писательская судьба. «Победим — отлакируют...»¹⁹

«Если бы я не попал в тюрьму, — писал Солженицын через сорок лет после победы, — я тоже стал бы каким-то писателем в Советском Союзе, но я не оценил бы ни истинных задач своих, ни истинной обстановки в стране, и я не получил бы той закалки, тех особенных способностей к твёрдому стоянию и к конспирации, которые именно лагерная и тюремная жизнь

вырабатывает. Так что меня писателем, тем, которым вы меня видите, именно сделали тюрьма и лагерь»²⁰.

Имея в виду призвание Солженицына-писателя, которое с девяти лет жило в его сознании, формировало характер и жизненный выбор, трудно сокрушаться, что спасительное «если бы» весной 45-го обошло стороной Солженицына-офицера, и что он встал на самую первую ступеньку своей уникальной судьбы. Арест 9 февраля 1945 года не дал повернуться этой судьбе в сторону легального литературного преуспевания.

Судьба, однако, причудливо столкнет Солженицына и с этой пугающей альтернативой, даст ему шанс экстремально проверить и этот вариант судьбы. 20 лет спустя после ареста он вплотную столкнется с той самой «ненастоящей», то есть с официозной литературой, представителей которой Твардовский презрительно называл «вурдалачьей стаей» и «сурковой массой». Он воочию увидит писателей с обликами ядовитых змей, хищных птиц и порочных волков и будет втянут в роковую схватку с ними. Он не уклонится ни от своего Шевардино, ни от своего Бородино и познает, наконец, всю необратимость разрыва с этим потенциалом судьбы, органическую несовместимость с ней. Эта литература, обладая безошибочным инстинктом самосохранения, жестко и грубо даст понять, насколько он непереносим для нее, и, доведя до пограничной черты свое неприятие к чужаку, навсегда избавится от него.

Я назвала далеко не все потенциальные версии судьбы Солженицына, которые играли роль в его реальной судьбе. Тщательный анализ этих субстанций впереди. Остановлюсь лишь на самой последней. Солженицын цитировал поговорку: «Умирают не старые, а поспелые» — то есть те, кто уже выполнил свою жизненную задачу и поспел к смерти. В последний год мне казалось, что судьба его, подойдя вплотную к последнему рубежу, готовит некий урок, назидание. Так и получилось: желаемая возможность ухода (умереть летом, а не зимой, умереть от сердца, а не от тяжелой и продолжительной болезни, умереть не на чужбине, а на родине, вблизи любимых людей и посреди сплошной работы) полностью совпала с реальностью — проработав весь день в своем кабинете в Троице-Лыково и устав под вечер, он ушел в ночь. Так буквально желаемое и действительное соединились еще только в одном пункте биографии Солженицына — в его возвращении на Родину, которое он предвидел, воображал и в которое верил с первого дня изгнания.

Если попытаться разгадать шифр его судьбы, как это всегда делал он сам, его уход означает, что свою жизненную задачу он выполнил полностью, по тем критериям, которые применял к себе. Он стал к смерти существом духовно более высоким, чем родился («Цель жизни человека не в счастье, а в том, чтобы за долгий жизненный путь духовно подняться, стать к смерти существом духовно более высоким, чем родился»²¹). Всецело отдаваясь литературе, он занимался главными вопросами человеческой жизни²², а не «игрой на струнах пустоты»²³. Для решения главных вопросов и посылалась ему энергия жизни — только в этом и можно видеть секрет его

удивительного, даже поразительного долголетия. Он говорил правду и значит, возрождал свободу («Говорить правду — это значит возродить свободу. Не считаясь ни с давлением. Ни с интересами, ни с модами»²⁴). В каждом броске своей жизни он стремился понять истинный разум происшедшего, то Нечто, что направляло его («Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая верного пути, — и всегда меня направляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надёжно, что только и оставалось задачи: правильной и быстрее понять каждое крупное событие мой жизни»²⁵).

Он стал для своих современников уроком и поучением²⁶, пока, к сожалению, плохо усвоенным. Он невесело сознавал, что в тяжком своем знании слишком «забежал от соотечественников вперёд — и нет с ними кратких путей объяснения»²⁷. Он пропустил через себя весь объем российской истории и российских проблем с конца XIX века²⁸. Он корнями уходил в прошлое, но мощно прорастал в будущее, освоив историческое пространство и смысловой горизонт целого столетия. Он называл себя летописцем лагерной жизни, а стал строителем и главным действующим лицом истории XX века. Несомненно, в этом качестве его легендарная биография продолжается.

- ¹ *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 186.
- ² Телеинтервью японской компании Net-Токуо. Париж, 5 марта 1976 // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Ярославль, Верхне-волжское книжное изд-во, 1995–1997. Т. 2. 1996. С. 393–394. Курсив мой. — *Л.С.*
- ³ *Мандельштам О.Э.* Сочинения: В 2 т. / Вступ. ст. С.С. Аверинцева. М.: Худож. Лит. 1990. Т. 1. С. 49.
- ⁴ Он же. Шум времени: Воспоминания, Статьи, очерки. СПб.: Азбука, 1999. С. 64.
- ⁵ *Солженицын И.* Дороженька // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. М.: Наш дом — l'Age d'Homme, 1999. С. 115–116.
- ⁶ Там же. С. 113.
- ⁷ Там же. С. 35.
- ⁸ Там же. С. 29.
- ⁹ *Солженицын А.И.* Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Часть 5 // Новый мир. 1999. № 2. С. 116.
- ¹⁰ Там же. Часть 1 // Новый мир. 1998. № 9. С. 99. Курсив мой. — *Л.С.*
- ¹¹ *Солженицын А.И.* Обращение к русским эмигрантам, старше революции // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Т. 2. С. 316.
- ¹² *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Часть 1 // *Солженицын А.И.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Терра. 1999–2005. Т. 4. 1999. С. 167.
- ¹³ Там же. С. 173.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. С. 10.
- ¹⁶ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Часть 1 // *Солженицын А.И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 4. С. 142–143.
- ¹⁷ Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве. Париж, март 1976 // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Т. 2. С. 443–444.
- ¹⁸ *Солженицын А.И.* Дороженька // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 144.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Телеинтервью в Париже. 11 апреля 1975 // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Т. 2. С. 262–263.
- ²¹ Круглый стол в газете «Йомиури» // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Т. 3. 1997. С. 88.
- ²² См.: «Я не мог бы отдаться литературе, которая занимается не главными вопросами человеческой жизни... какими-нибудь необязательными посторонними пустяками, самовыражением так называемым» (Радиоинтервью о «Марте Семнадцатого» для Би-би-си. Кавендиш, 29 июня 1987 // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Т. 3. С. 283).
- ²³ См.: *Солженицын А.И.* Игра на струнах пустоты. Ответное слово на присуждение литературной награды Американского Национального Клуба искусств // *Солженицын А.И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8. 2005. С. 88.
- ²⁴ Интервью журналу «Ле Пуэн» // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Т. 2. С. 329.
- ²⁵ *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. С. 126.
- ²⁶ См.: Телеинтервью с Малколмом Магэриджем для Би-би-си. Лондон, 16 мая 1983 // *Солженицын А.* Публицистика. В 3 т. Т. 3. С. 144).
- ²⁷ *Солженицын А.И.* Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Часть 5 // Новый мир. 2003. № 11. С. 66.
- ²⁸ См.: Там же. С. 73.